

РЕЦЕНЗИИ И ОГЛЯДИ

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛУЧШАЯ В МИРЕ ЦЕНзуРА — ПО ПРИЗНАКУ ЛИТЕРАТУРНОГО КАЧЕСТВА!»

Павел Нерлер об Осипе Мандельштаме

Павел НЕРЛЕР. Con amore [По любви]: Этюды о Мандельштаме. — М.: Новое литературное обозрение [НЛО], 2014. — 856 с.: ил. — Науч. прил. к НЛО: Вып. СХХV. — ISBN 978-5-4448-0162-8. — Тираж 1500 экз.

Книга мандельштамовских статей Павла Марковича Нерлера неожиданность, надобно сказать, ожидавшаяся. Стоит отдать должное умственной сноровке Ирины Дмитриевны Прохоровой, главного редактора НЛО: поддержка российского мандельштамоведения давно уже не в руках государства, зато — в надежных частных руках.

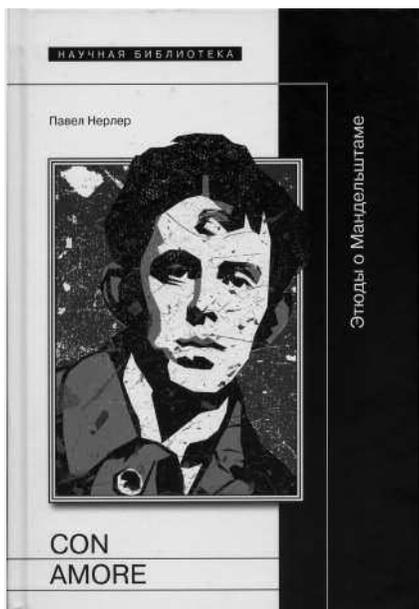
Государству как-то слишком запросто удалось избавиться от хлопот по изданию сочинений сгноенного им поэта: что успелось сделать на излете Перестройки, причем руками того же Нерлера, то успелось. Остальное, — а в связи с Мандельштамом всегда есть о чем говорить, ну, например, читать по ночам вслух его стихи, — дело энтузиастов. Самому слову «энтузиаст», имевшему до большевицкого переворота отрицательный оттенок вроде «дурак», в связи с нынешними культурно-историческими исследованиями и особенно нынешними культурно-историческими обстоятельствами следовало бы вернуть его смысл: занимающийся Мандельштамом вправду вроде сумасшедшего, и его проблемы это только его проблемы, разделяемые немногими. Государство даже не в сторонке, оно — вата, как точным словом сказал Нерлер в очерке «Слузганная культура, или Новая Атлантида»: «Теперешняя вертикаль <российской> власти догадалась (чего Сталин не смог): самая жесткая реакция на стихи и на правду — это не замалчивание их и не запрет, не казнь болтунов,

а полная тишина, абсолютное молчание, игнорирование, в том числе и того, что еще скажут по этому поводу другие» (стр. 723). Мы знаем: чем тише тишина, тем громче гром.

Сборник «Слово и культура» (М., 1987), готовившийся девять мурторных лет (нет, не по Горацию: мол, «*popumque prematur in annum*»), чёрный двухтомник мандельштамовских Сочинений Нерлера–Аверинцева (М., 1990), затрепанные (белая обложечная холстина и черный ледерин не вечны), сопровождали странных людей навырост. Затем появился четырехтомник Мандельштама, стараниями Павла Марковича увидевший свет в 1993–1997 гг., ныне оцифрованный, снабженный указателем словоформ, доступный в Сети и остающийся лучшим компендиумом произведений поэта. Разбросанные же по разным сборникам, готовившимся Мандельштамовским обществом и РГГУ, особенно в пяти выпусках продолжающегося альманаха «Сохрани мою речь...» (М., 1991–2011) — этом кумулятивном заряде, пущенном в интеллигентскую беспамятность и наделавшем там шороху, — околумандельштамовские статьи Нерлера библиотечно и читательски требовали одной обложки. Автор явно не спешил с решением такой задачи, полагая, что не всё задуманное сделано, и подводить итоги рано. Но забота о читателе взяла верх над исследовательским благоразумием, и вышедшая книга — промежуточный вариант нерлеровского мандельштамоведения, оглушительный по эмоциональной насыщенности, убедительный по поливекторности реконструктивных инсценировок.

Сборник состоит из семи разделов.

В первом разделе «*Con amore*» (стр. 11–46) — автобиографические заметки Нерлера, впечатлившие его опыт изучения творчества и жизни Мандельштама, причем автор в этих текстах умышленно затерян среди коллег, вместе с которыми, создавая некий «коллективный разум», в течение десятилетий занимался решением индивидуальных задач. Это Н. Поболь и А. Штейнберг (которым посвящена книга), А. Морозов и С. Аверинцев, М. Гаспаров и А. Михайлов, О. Лекманов и В. Швейцер, это готовящаяся «Мандельштамовская энциклопедия» и архивный «глобус» Мандельштама — тоже своего рода «коллективные люди» среди исследовательских частных. Каждая статья в сборнике, не только в первом разделе, посвящена либо кому-то из достойно живущих, либо *in memoriam* достойных. Этим Павел Нерлер подчеркивает: всё, что сделано, сделано не столько им, сколько вместе с остальными; Мандельштам не чья-то собственность (как, стесняясь, полагали Н. Харджиев и стареющая Надежда Яковлевна), это всеобщее духовное достояние, тексты для всех, и каждый, кто неравнодушен, пестует лютерански-«соборный» дух исследования в других точно так же, как в себе. В таком смысле Нерлер и его коллеги тоже «ничи современники», хотя портреты их писаны с натуры.



Второй раздел «Солнечная fuga» (стр. 47–242) составили публикации теоретического толка. Здесь и «Слово и судьба Осипа Мандельштама» — конспект изложения мандельштамовских времени, дела и тела, слова и мифа, запоминающаяся новообразованиями «безмогильная смерть», «нерукопожатый брадобрей», «тиран-поэтомор» и восхищающими констатациями вроде: он, Мандельштам, «все же не представлял, как дружно и как слаженно нацистский Египет и советская Ассирия примутся за уничтожение гуманизма по обе стороны от линии Керзона и как преуспеют они в строительстве барачных, газовых печей и прочих пирамид из человечины по всей Европе» (стр. 63). Не представлял — но и не пережил.

Здесь и наблюдения о прозе Мандельштама, отдавшей уши тогдашним рецензентам, не слишком тонко (как Абрам Лежнев) или избыточно тонко (как Цветаева) слышавшим время. Здесь замечательное по документальной полноте изложение (памяти Е. Г. Эткинда) затёртого конфликта между Арк. Горнфельдом и Мандельштамом в связи с изданием перевода «Тили Уленшпигеля» в 1928-м, отредактированного Мандельштамом. Горнфельд в сердцах написал: «А если бы он, дурак, перевел добросовестно, то мне бы моего перевода уж никак не пристроить!» (стр. 93), и открыв потомкам, в чём, собственно, дело.

Здесь наблюдения над «Путешествием в Армению», состоявшимся благо-

даря участию Н. И. Бухарина: «В круге общения поэта, в его литературных занятиях, в выборе маршрутов его путешествий, наконец — всегда есть некая системная, хотя и не систематическая жесткость. Случайным может быть повод, но не причина, а она лишь на нужное взглянет с улыбкой» (стр. 109). В композиционном анализе «путешественной» главки «Французы» о восприятии Манделштамом живописи, Нерлер выделяет три этапа: «Первый — погружение глаза (*“помните, что глаз благородное, но упрямое животное”*) в *“новую для него материальную среду”* картины, погружение, — длящееся до тех пор, пока *“телесная температура <...> зрения”* не сравнивается с картиной, перед которой вы стоите. На втором — *“тончайшими кислотными реакциями глаз <...> поднимает картину до себя”*. И, конечно, на третьем этапе — происходит *“очная ставка с замыслом”*» (стр. 122)¹. Если бы Эрвин Панофский, разрабатывая иконологический метод, ведал о таком наблюдении, получившийся результат мог оказаться еще более инструментальным.

За «Путешествием...» в сборнике следуют «Метрические волны и композиционные принципы позднего Манделштама» (посвященные Д. Г. Лахути), очерк, построенный на предметно-стиховедческих исследованиях и поблескивающий констатациями вроде: «С середины декабря 1936 года Манделштам был захвачен мощной хореической тягой» (стр. 140), «трехстопный анапест первого <“Среди народного шума и сбега...”> смотрится ни много ни мало как ритмический десант “Стихов о неизвестном солдате”, чей мощный анапестический накат еще и этим противостоял дьявольской искушенности материи “Оды <Сталину>” — этой поистине “чёрной дыры”, поглотившей столь много энергии и живой материи поэта» (стр. 141). Применение гаспаровского метода подсчетов, составление таблиц композиционных расколов ритма «Первой Воронежской тетради», смешанное с восстанавливаемым знанием о контексте ее создания, отсылает читателя к лучшим образцам советского стиховедения (особенно к опыту книги М. Л. Гаспарова «Современный русский стих» 1974 г.), уточняя объемность и разграфливая плоскостность «семантического ореола» стихотворений. Обычный читатель купается в этих метрических волнах, а любитель шахмат получает дополнительный умственный кайф.

Два следующих за метрическими волнами очерка посвящены немецкому контексту произведений Манделштама. Так, анализ «К немецкой речи» свидетельствует о пути поэта от вдохновившего его достоинством судьбы Э. Х. фон

¹ О. А. Оленев в статье «Импрессионизм Манделштама: Очная ставка с замыслом» (Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць ІПСМ НАМ України. — К., 2012. — Вип. 8. — С. 377–385), не зная об этой статье П. М. Нерлера, приходит к похожим заключениям.

Клейста (умер от военных ран в 1759-м, это вам не «плющ в беседке шоколадной») к «битве со словами и словами <...> Соловей, которому поэт жалуется на своих вербовщиков, знаменует собой не только синтез природы и культуры, но и некую мировоззренческую константу. И уж если воевать, если сражаться, — то только на его стороне! Не в первый — и не в последний — раз он выбирает поэтическую правоту» (стр. 167). Статья о Гёте в произведениях Мандельштама — от «Шума времени» до воронежской радиопостановки — подсмотр за Мандельштамом как читателем Пушкина. Нерлер подчеркивает: «Мандельштам мыслит о Пушкине, рассуждает о нем как о едином *целом*, как об источнике (или, если угодно, родоначальнике) *света*, достоверно освещающем любую частность в русской поэзии. Пушкин — не ходячая монета, а ее золотой запас, точнее, неизменный *золотой*, который всегда с собой и с которым не страшно, с которым, стоит к нему лишь прикоснуться, как неясное проясняется, просветляется, занимает свое и только свое место» (стр. 182). Потому «при всей хронической бездомности и неустроенности Мандельштама, томик Пушкина, как свидетельствуют все мемуаристы, у него был всегда с собой» (стр. 185). Мандельштам мог слышать в ОПОЯЗе, что Пушкин это «наше всё», но не догадывался, что сам может этим всем оказаться.

В этом же разделе небольшие этюды: «Поэтическое завещание (Об одном пушкинском подтексте “Воронежских стихов”); «Мандельштам о Чехове: Притяжения и отталкивания»; «Новый Гиперборей» — о собственноручной тиражной графике поэтов; о шуточных стихах («именно Мандельштам подсказал Ильфу и Петрову идею “Гаврилиады”, хотя не исключено и обратное влияние (Мандельштам очень любил “Двенадцать стульев”!)» (стр. 201)); заметки о прозаических переводах Мандельштама («Тридцать томов за десять лет»); о промандельштамовских рассказах Варлама Шаламова. В статье о еврействе Мандельштама («И возник вопрос...») Нерлер пишет, что «великий русский поэт — и еврей <...> — жил гордо, свободно, с птичьей осанкой. Он не искал псевдонимов и ни на что не испрашивал разрешения. Дышал и мыслил русским стихом и всё время, по собственному выражению, — “наплывал на русскую поэзию” <...>, пока у новых антисемитов не возник новый волнующий их вопрос — дерматологический: о “жидовском наросте” — мандельштамовском прыще! — на чистом теле истинно русской поэзии, высшими гениями которой, не смущаясь, они почитали эфиопца Пушкина, шотландца Лермонтова и еще Тютчева, чьим пращуром был фрязин Туччи» (стр. 214).

Заключают второй раздел две прелюбопытнейшие заметки: библиографический мониторинг изданий Мандельштама и о Мандельштаме — со схемами и даже цветными таблицами на вклейке, — и интегрум-анализ упоминаемости и цитируемости Мандельштама в российских СМИ с 1991-го по 2012-й. Табли-

ца «Встречаемость отдельных цитат из Мандельштама и других поэтов в 1992–2007 гг.» на стр. 239 красноречива: точно схваченный тезаурус среднеинтеллигентного самообразованного обывателя. Вправду, чем умеющий читать человек может блеснуть в беседе? Из Маяковского: «Если звезды зажигают...»; из Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво...»; из Тютчева: «Умом Россию не понять» (и тут же, сразу, из Губермана: «Давно пора, ядрёна мать, умом Россию понимать»); из Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора...» (ну, это уже эксклюзив, как и «Искусство при свете совести» Цветаевой). Из Мандельштама это словосочетания: «под собою не чужа страны», «кремлевский горец», «век-колкодав», «руки брадобрея», «в Петербурге мы сойдемся снова», «глубокий обморок сирени» итд. Показательна уменьшающаяся частота употребления этих конструкций в СМИ и Интернете за пятнадцать лет.

Третий раздел «Мандельштамовские места» (стр. 243–502) включает четырнадцать этюдов: от пропедевтической статьи о «городах поэта» (из Варшавы на Вторую речку близ Владивостока) — до замечательно подробных исследований, некогда вышедших отдельными книгами, о пребывании Мандельштама во Франции («семестр в Париже»), Германии («семестр в Гейдельберге» и вокруг), Италии, о виртуальностях контекста его «американских» стихов. Статьи о побывке Мандельштама в Грузии, Армении, житии в Москве, на Урале, в Воронеже («Воронеж стал для Мандельштама и Овидиевой Скифией, и пушкинским Болдино одновременно, Мандельштам для Воронежа — одной из самых ярких красок во всей творческой истории города», стр. 422), на Верхней Волге — заготовки для Большой Хронологии жизни Мандельштама, захватывающие по полноте, подробные до оскомины; подспорье для будущих пьес Григория Горина, если бы он был жив, и киносценариев, если бы было кому такие фильмы смотреть. Может, это оттого, что «мировая история обнаруживает себя не только как экстерриториальная, но и как вневременная категория, способная выкристаллизовываться в такие абстрактные категории как, скажем, демократия, свобода, закон, гуманизм, человеческое достоинство. Это открылось ему в Риме, и с таким багажом и таким “посохом” ему уже не страшно и не стыдно будет пускаться в любой путь, хотя бы он и вел на Вторую речку» (стр. 343). Нет, это не для кино, это можно показать лишь в тексте.

Попытка реконструкции пребывания Мандельштама одиннадцать последних месяцев жизни в одиннадцатом бараке пересыльного лагеря под Владивостоком — «попытка лагеря», важный топос раздела. Более пронзительное «свидетельство» о его нарах, более точную реконструкцию трудно представить. Написанный практически безэмоционально, барачный очерк Нерлера подтверждает: «Закройщик собственной судьбы, Мандельштам, несомненно, понимал, каким должен был быть его “приговор” <после филиппики Стали-

ну> — высшая мера: и разве не сам он пояснял, что смерть для художника и есть его последний творческий акт? И он сделал для этого “всё что мог”. Но оказалось, что именно это и спасло его от высшей меры и что благодаря самоубийственному поведению он от гибели-то и ускользнул» (стр. 410). От мгновенной ускользнул, от мучительной все-таки нет. Ну как же, иезуитство должно быть иезуитским.

Вот фрагменты нерлеровского текста.

«Пересыльный лагерь в эти дни <13–19.10.1938> был чудовищно перенаселен. Новичкам было некуда воткнуться и негде притулиться. Многие разместились на первую ночь прямо под открытым небом между двумя бараками. Стояла сухая погода, и мало кто рвался под крышу — на съедение вшам. <...>

В бараке, где содержалось около 600 человек, большинство составляла “пятьдесят восьмая”, в основном ленинградцы и москвичи, и эта общность судьбы и среды как-то скрашивала всем им жизнь, а точнее, примиряла с собой.

Мандельштама и других новичков встречал староста. Им был артист одесской эстрады, чемпион-чечётчик Лёвка Гарбуз <...>. Мандельштама он вскорее возненавидел — возможно, за отказ обменять свое кожаное пальто — за что-то и преследовал его как мог: переводил на верхние нары, потом снова вниз и т. д. На попытки Меркулова и других урезонить его Гарбуз всплескивал руками: “Ну что вы за этого фидурка вступаетесь?” <...> Одна из “бригад” 11-го барака состояла человек из 20 стариков и инвалидов: ютилась она сначала под нарами, выше первого ряда им и по поручням вскарабкаться бы не удалось. Их старшим был самый младший по возрасту — 32-летний и единственный здоровый — Иван Корнильевич Милютин, инженер-гидравлик <...>.

Староста подвел к нему Мандельштама и попросил взять его в свою группу. При этом староста произнес: “*Это Мандельштам — писатель с мифовым именем*”. Больше он ничего не сказал, ну а технарь Милютин и не стал уточнять: подумаешь, знаменитостей и среди его старичья хватало. <...> Худой, среднего роста, Мандельштам, несмотря на фактическую голодовку, вовсе не впадал в отчаяние или астению. Ему — нервическому, моторному, привыкшему сновать из угла в угол, — было в своем бараке тесно. “*Быстрый, прыгающий человек... Петушок такой*” <...> Выбираясь на улицу, он подбегал к запрещенным зонам, чем вечно раздражал стражу и начальство.

Днем Мандельштам все время куда-то уходил, где-то скитался. Как потом оказалось, он сошелся с какими-то блатарями и ходил к ним на чердак одного из барачков — читать стихи! Их главарь, по фамилии Архангельский, видимо, знал и ценил их еще до ареста. Гонораром служили невесть откуда берущийся белый хлеб и консервы, не вызывавшие у поэта никакой опаски.

Мандельштам чувствовал себя в среде блатарей как-то защищенно, читал

им стихи <...> и сочинял для них “весёлые”, то есть скабрёзные, вирши, а может быть — если просили — и матерные частушки. <...>

...В какой-то момент Милютин понял, что в бараке Мандельштам просто симулирует сумасшествие, косит под психа. Это его раздражало, но он не показал и вида: если так легче — пусть. Но однажды Мандельштам прямо спросил Милютину, производит ли он впечатление душевнобольного? Полученный ответ: “Нет, не производите” Мандельштама, кажется, огорчил. Он как-то сдулся и сник.

Больной или только прикидывающийся больным, но Мандельштам почти ничего не ел. Он всерьез боялся любой приготовленной казенной еды, путал котелки, терял свою хлебную пайку. Боялся он и уколов — любых, отказывался от них: опасался шприцев как орудия физического уничтожения.

Но временами он был вполне здравомыслящим и даже осторожным; его речи были всегда остры, точны и умны. <...>

Безусловно, он был по меньшей мере назойливым и настырным. Когда приставал со стихами — его отгоняли (“Вали отсюда!”), не били, — но грозились побить» (стр. 479–482, 493).

Заключительные главки об 11-м бараке — «Пальчики» (об обязательном снятии для следственного дела отпечатков пальцев мертвеца) и «Похороны жмурика» — пронзительное по скудости эмоций закрепление свидетельств о первых посмертных днях Мандельштама.

Четвертый раздел — «Современники и современницы» (стр. 503–702) — составили портреты, выписанные автором по правилам архивного письма, но с значительной реконструктивной обстоятельностью. Если слово «обстоятельность» может и должно быть приложимо к характеристике всех трудов Нерлера, то в особенности к этюдам, наполнившим четвертый раздел книги. Собеседники на пиру (во время чумы) оказались живыми.

Среди портретируемых: «свидетельница поэзии» Надежда Яковлевна (в самых разнообразных контекстах и контактах¹), Анна Ахматова, Нина Грин, Наталия Штемпель («Воронежская Беатриче»), Бенедикт Лившиц («Бено»), Екатерина Лившиц («Офицерская косточка, балетные пачки, перешитый бушлат»), Ольга Ваксель («Лютик из заросничной страны»), Владислав Ходасевич, Валентин Парнах (отдаленный прототип Парнока из «Египетской марки»), о. Николай Бруни (авиатор, священник, поэт), Павел Калецкий (товарищ по во-

¹ «Жена гениального поэта, делившая с ним стол и ложе, она постоянно сталкивалась с самыми непосредственными проявлениями творческого процесса — с чудом зарождения и рождения стихов. По своей интимности тема эта куда более трепетная, нежели любые влюбленности и измены. Никакой Гёте никаким Эккерманам об этом ничего не рассказывал!» (стр. 558).

ронезской ссылке), Борис Горнунг, Николай Харджиев («первый старатель») и Павел Лукницкий («летописец»). Уже путь от заглавия — краткой, почти метафоричной характеристики персонажа — к изложению его роли в прижизненной/посмертной судьбе поэта указывает, что Нерлер начинает каждый этюд с изъяснения каких-то общих принципов, отсекая одинаковости, присущие первопубликациям его статей, двигаясь от контекста к персонажу, затем от персонажа к Мандельштаму, затем продельвает обратный путь, завершая контекстом. Но цель у него другая. «Пространство и время, — пишет автор, — услужливо меняются местами, и время перестает разделять. Наоборот, оно собирает избранных собеседников воедино, на общий пир, в некий временной веер, так напоминающий пространственный. Разве не это имелось в виду в том месте “Разговора о Данте”, где говорится о “совместном держании времени”?» (стр. 505). Конечно, об этом. Только в книге эти время и пространство, будто античный атлет в саду Гесперид с небесным сводом на плечах, держит не Мандельштам, а сам Нерлер. Он приглашает читателя помочь, хотя превосходно справляется в одиночку.

Смотрите: о Парнахе/Парноке.

«Известно, что Парнах, действительно, смертельно обиделся. Напрасно. С трагическим и шаржированным образом Парнока <...> литературная молва прочно связала и самого автора “Египетской марки”. Как бы то ни было, но образ Парнока несет в себе черты и черточки разных судеб и характеров. Главное в нем — сочетание хрупкости, напуганности, уязвимости и уязвленности — с чувством достоинства, чести, с бесстрашием в вопросах жизни и смерти.

И каким бы жалким, беспомощно-хрупким ни казался нам Парнок, — в прачечной ли рядом со священнической рясой Бруни или в прихожей портного Мервиса, — именно он, этот Акакий Акакиевич наших дней, отождествления с которым так опасался “автор”, — именно он бросается в самую гущу событий, пытаясь доступными ему средствами спасти от расправы неизвестного ему человека, приговоренного толпой к самочинной расправе. Не подобным ли образом действовал в своё время и сам Мандельштам, так боявшийся клопов и милиционеров, но сразу же выхвативший из рук одного начинающего поэта <Якова Блюмкина>, более известного как убийца Мирбаха, пачку арестных ордеров, которыми тот вертел перед его носом, пьяно хвастаясь властью над “пачкой” судеб? Мандельштам разорвал их на глазах остолбеневшего и уже почти отвыкшего от человеческих поступков чекиста!..

Биография самого Парнаха содержит немало такого, что решительно несовместимо с образом неудачника-Парнока» (стр. 652).

Пятый раздел книги «Слово и бескультурие» (стр. 703–724) состоит из четырех злободневных текстов: таких, что, пожалуй, сочинил бы и сам Мандельштам, если бы очутился рядом. Что поделать: на безмандельштамье и сам Ман-

дельштамом станешь. Честно говоря, они едва ли украшают композицию книги, точно рассчитанную на вечность, и эти статьи придется густо комментировать. На лестничке «событийное — временное — вечное» они внизу. Сергей Сергеевич Аверинцев в интервью возмущался: «когда сегодня иные пишут о мерзости власти и прочее, то я думаю: человек, который это пишет, он что, не понимает, что только уже потому, что он может всё это написать и напечатать, ему, быть может, и не стоило бы этого писать?»¹. Допустим, статья о не-колонновожатом Мандельштаме с оценкой предисловия некоего Дымшица к «Стихотворениям» Мандельштама 1973 г. (с тем и остался этот человек в истории советской литературы) или текст о слуганной культуре с посвящением Карену Араевичу Свасьяну — добротная публицистика, «антисимуляция симулякров», делающая автору честь, то статьи о теперешнем якобы закате Мандельштама или надзирающим за культурой «министре культуры» — не «жизнячки», но «умиранки».

Шестой раздел «Вместо заключения» (стр. 725–729), тематически замкнутый на предисловие, напоминает архитектурный момент в первом (и единственном) томе трехтомного Собрания сочинений Андрея Битова (М., 1991): «предисловие автора, переходящее в послесловие» (начало на с. 5–6, окончание на с. 565–574). Оба окаймляют тело книги Нерлера будто пресловутая «арабская канва Аверроеса»: зачин и выход. Вот где гром, грохотание, сменившее государственную тишину: «В контексте общекультурного его литературное и историческое значение, равно как и читательское признание (в России и во всем мире), сегодня является поистине мировым и не оспаривается уже никем. Его произведения, в том числе и несколько многотомных собраний сочинений, изданы миллионными тиражами во многих странах мира, о нем написаны тысячи статей, опубликованы сотни книг и защищены десятки диссертаций. И не случайно, что именно на мандельштамовском «материале» складывались и формировались многие методологические парадигмы современной филологии (как, например, интертекстуальный анализ и др.). Мандельштамоведение является, бесспорно, одной из самых динамичных ветвей русской филологии» (стр. 728). И вправду, кто еще из славянских литераторов, исключая, быть может, Пушкина, удостоился такой «выпрямительной» чести?

Заключительный, седьмой раздел это «Приложения» (стр. 731–815). В нем два блока: «Из дневников и записных книжек» Нерлера, посвященных исследованиям Мандельштама, и мандельштамовская «Библиография» самого Павла Марковича. Оба бесценны, поучительны. С одной стороны, посредством дневников можно углубиться в мотивы и обстоятельства, прогуливавшие авто-

¹ *Марина Мурзина*. Сергей Аверинцев: «Ах, мой милый Августин!» // Аргументы и факты (Украина). — К., 1998. — № 3 (129). — С. 3.

ра по извивным «улицам Мандельштама», с другой стороны, посредством библиографии можно уяснить объем работы, проделанной Нерлером над помертной его судьбой, убедиться в качестве усилий, положенных автором на алтарь мандельштамоведения. И в обоих случаях уважительно снять шляпу.

При всей несвободе от опечаток — нормального явления в современном книгоиздательстве — книга сделана отлично. В именном указателе есть, правда, лакуны и неправильности (нет Шарля Пеги, стр. 265, издававшего в Париже знаменитые «Двухнедельные тетради»; архитектор Аристотель Фиораванти назван на стр. 345 и в указателе «Фиораванти» итд), но это тоже мелочи.

Главное в другом. По расхожему образу Мишеля де Серто из его книги «Изобретение повседневности» — «читатель как браконьер» (*lecteur comme braconnier*), поддержанному Роже Шартье, наиболее почитаемым ныне французским историком книги, — всякий читатель всякой книги и впрямь похож на браконьера: хищно идет в лес, где его не ждут, и лишь догадывается, какие в нем ёжики и косули, стреляет из чего попало в кого попало, в общем ведет себя имплицитно ситуации. Реальный читатель внеположен тексту, и по-своему его присваивает. Беря в руки книгу, читатель-браконьер все-таки рассчитывает поживиться за счет чужого труда (денежная стоимость книги на последнем месте), насытить «вождеделение от текста» предметной добычей и уверен, что стреляет прицельно. «Сядь, Державин, развалися», — команда такому читателю. Какой-нибудь любопытец с любопытницей (скажем, колченогой «нищенкой-подругой»), раскрыв книгу П. М. Нерлера, наверняка знает, о чём в ней, а если не знает, продефилирует мимо.

Этот, по-своему герметический, корпус текстов о жизни и трудах Мандельштама и его современников, которым он не современник, сам по себе становится источником для будущего, элементом вневременной культурной истории, сегодняшним вариантом ее прочтения, результатом ее властного подчинения будущему, где будут ли читатели — неведомо. Павел Маркович сделал что должно: собрал и предъявил. Качество предъявленного оказывается залогом историко-культурного долголетия Мандельштама, бесконечным продлением его жизни, и если автор положил на труды о поэте несколько десятилетий собственной жизни, живым идя рядом с погибшим поэтом, он знал, что делает и делает. Это не повседневное культуртрегерство, это созидание культуры в тех наиболее чистых ее формах, о которых его главный герой некогда сказал: *культура это «не что иное, как соотносительное приличие задержанных в своем развитии и остановленных в пассивном понимании исторических формаций»*. Автор задерживает, читатель пытается понять, а соотносительность приличий определяется качеством совместного труда.

Андрей ПУЧКОВ